

С. М. Соловьев

Мои записки для детей моих, а если можно, и для других

<Фрагмент>

После Грановского и Крюкова самым замечательным профессором нашего факультета был Александр Иванович Чивилев, преподававший политическую экономию и статистику. Это был gentleman в наружности и манерах, честный, точный в исполнении своих обязанностей, умный и часто зло-остроумный человек, и если не холодный, то, по крайней мере, холодноватый. Политическая экономия меня не так занимала; эта наука была для меня слишком жидка, хотя изложение Чивилева, в научном отношении, кажется, было безукоризненно; гораздо больше удовольствия и пользы доставили мне его лекции о статистике, особенно та часть их, где говорилось о природе стран, о ее значении в жизни народов. Греческий язык на первом и втором курсах преподавал В. И. Оболенский, с которым я уже был знаком по гимназии, где он с начала моего поступления преподавал русский язык, а потом латинский. Оболенский был человек знающий, охотник читать, заниматься, но бездарный и полусумасшедший. В гимназии он так учил русскому языку: придет в класс и вызовет какого-нибудь ученика говорить урок от доски до доски по книге, потом вызовет кого-нибудь говорить стихи, и в этом проходит весь класс. В университете он мог бы быть полезным на низших курсах, занимаясь переводами авторов, но он вредил делу тем, что не мог внушить к себе никакого уважения в слушателях, которые смеялись над ним, над его странными речами, в которых, начавши за здравие, он сводил за упокой, ибо мысли, иногда здравые, никогда не клеились в его голове одна с другой; потом он вредил преподаванию крайней слабостью, неумением требовать от студентов приготовления к переводу. Строганов видел его неспособность и насилу додержал его до срока пенсии, чтоб не лишить бедного старика куска хлеба. На высших курсах преподавал греческий язык А. И. Меншиков, человек бездарный, невыносимый на лекциях и также с головою не очень стройно организованною. Строганов хлопатал, чтобы его выжить из университета, но никак не мог. Еще до выхода Оболенского был приглашен для греческой кафедры немец Гофман. Это был человек не без дарования, могший с пользою преподавать греческий язык, особенно если сравнивать его с Оболенским и Меншиковым, но немец не понимал своего положения в русском университете. И поступавшие в университет ученики гимназии не были достаточно приготовлены в греческом языке, тем менее ученики, поступавшие из других приготовительных заведений и из родительских домов; при приемных экзаменах утвердилось вредное правило, что нельзя строго требовать греческого языка, ибо это предмет трудный, отвращающий многих от поступления на историко-филологический факультет. Видя неприготовленность студентов, Гофман подумал, что им

нельзя преподавать по-университетски, а надо по-гимназически, и начал душить нас на грамматике, на ее тонкостях; но что русскому здорово, то немцу смерть и наоборот. Русский студент 18-ти, 20-ти лет и больше и не имеющий в виду быть греческим учителем, занимающийся другими предметами, хочет приобрести возможность читать, как можно легче, греческих авторов, для чего ему нужно постоянное упражнение, - и вместо того, пробывши несколько лет в университете, посещая почти каждый день греческие лекции, он видит, что не может прочесть ни одной странички Геродота без лексикона, потому что лекции проводятся в толкованиях о различных оттенках частицы.

Это студентам сильно наскучило; многие из них перестали ходить на лекции; другие, сидя на лекциях, не слушали о частице [Greek characters] и, по окончании курса почти все вышли с такими знаниями греческого языка, с какими вошли в университет; метода Гофмана объяснялась еще и тем, что он преимущественно занимался грамматикой, давал уроки, чтобы приготовить к экзегезису; занять же внимание слушателей и принести им пользу он не имел времени, и потому потчивал их одной грамматикой.

Русскую историю мы слушали на четвертом курсе у М. П. Погодина. Сколько прекрасная наружность Грановского приносила ему пользы, гармонируя с его художественным преподаванием, привлекая к нему женщин и мужчин, столько же вреда приносила Погодину его наружность, имевшая в себе, кроме дурного, еще отталкивающее. Мы пришли слушать Погодина с предубеждением относительно его нравственных качеств; он славился своей грубостью, цинизмом, самолюбием и особенно корыстолюбием. Есть много людей, которые так же самолюбивы и корыстолюбивы, как Погодин, но не слывут такими именно потому, что у Погодина душа нараспашку; что другой только подумает, - Погодин скажет; что другой подумает или только скажет, - Погодин сделает. Другие так же корыстолюбивы, но скрывают этот недостаток или обнаруживают его не так легко, а Погодин, мелочный торгаш, любит даровщинку, любит не дать, не добавить; выпустить деньгу из рук для него очень тяжело, хотя бы он и знал, что вперед будут барыши; Погодин сам признается, что он корыстолюбив, и жалуется: "Вот люди! Имей какой-нибудь недостаток, так уж они и привяжутся к нему, и никогда не будешь ты у них порядочным человеком, хотя бы при этом недостатке имел и большие достоинства". Но в том-то и дело, что у Погодина не было больших достоинств, хотя и было достоинство довольно редкое в русском человеке, в наше время и в нашем обществе, качество, которое он вынес из своей прежней среды (о происхождении своем он не упомянул в своей автобиографии, потому и мы молчим о нем), именно смелость, качество первобытного, простого русского человека: смелым Бог владеет - авось! - и идет напролом. Смел он на доброе дело, - например, написать правду о делах управления и подать ее в руки царю; - смел и на то, чтобы сейчас же попросить денег у правительства, которое знает, что он богат, и тем обнаружить свое корыстолюбие, потерять уважение, приобретенное-было смелым добрым делом; смел и на то, чтобы, будучи в Брюсселе, зайти к

Лелевелю - засвидетельствовать ему свое уважение; смел и на то, чтоб надуть человека, имеющего голос, значение в обществе, человека, следовательно, опасного; смел на то, чтоб обругать своего противника печатно без соблюдения приличий; "смел на то, чтоб вредить врагу всякими средствами". Я сказал: смел на доброе дело; значит, в нем было побуждение и к добрым делам; это не был Давыдов, способный только на одни низости, хотя, с другой стороны, и Давыдов не так оскорблял своим поведением, как Погодин, ибо у Давыдова не было такого цинизма, такого неряшества нравственного, как у Погодина. Человек отражался в писателе и в профессоре. Погодин менее всего был призван быть профессором, ученым; его призвание - политический журнализм, палатная деятельность или - к чему он еще более годился - площадная деятельность. Это был Болотников во фраке министерства народного просвещения; заметим, что последнее должно было сильно смягчить первое, и действительно смягчало. Человек низкого происхождения, но живой, умный, он в молодости увлекся на поприще, которое одно в России имеет характер публичности, соединено с шумом, движением, обольщающим живых молодых людей, поприще литературное и университетское. Он стал писать повести, издавать журнал, заниматься историей всеобщей и русской, особенно последней, вошел в литературный круг. К постоянным ученым кабинетным занятием одним предметом Погодин не был способен от природы и не мог приучить себя в молодости при указанном разнообразии своих занятий; вот почему в русской истории явился он наездником сначала очень счастливым; в споре о происхождении варягов подметил, где твердая почва, схватился за Скандинавию, распространил Байера и явился главою скандинавцев; в споре о летописях подметил, что у скептиков золотая голова и глиняные ноги, и начал бить по ногам, живостью, задором опередил мешковатого Буткова и стал главою школы несторианцев. Но здесь я коснусь его ученого поприща. Легко добывши себе громкое имя двумя диссертациями и несколькими журнальными статейками, Погодин засел в варяжский период, остановился здесь; вследствие прекращения движения явилась плесень. Погодин ничего не ведал дальше варягов, дошел до нелепых крайностей, запутался, завяз, ибо только широкое движение по целому обширному предмету освобождает ученого от пристрастий, спасает от крайностей, необходимого следствия тесноты горизонта, производящей ученую близорукость; крича, что другие ничего не делают, задавая молодым людям предметы для занятий, Погодин сам ничего почти не делал для русской истории, а между тем утвердился во мнении, что он - во главе людей, занимающихся русской историей; все обстоятельства, к несчастью его, содействовали к укреплению этого убеждения: Каченовский ослабел и умер, Строев (Сергей Скромненко) умер, Венелин умер; мнения последнего нашли себе защитников и развивателей в таких людях, с которыми легко было бороться - в Морошкине, в Савельеве-Ростиславиче и т. п.; поле, следовательно, осталось за Погодным, и он трубил победу; огромная библиотека, им собранная, заставляла его думать, что в его руках все сокровища русской истории, что молодые люди могут заниматься

ею только с его позволения, с его благословения, хотя сам он меньше всякого другого имел понятие о своей библиотеке, особенно о древних рукописях; наконец, связь его с славянскими учеными, которые обходились с ним с чрезвычайным уважением, ибо он посылал к ним книги и деньги, давали ему видное место в целом ученом славянском мире.

Но этот пророк не был признан в своем отечестве; в московском университете ему было не очень ловко. Во-первых, лекции его не могли возбудить в студентах восторга, сделать из них жарких поклонников. Вот, как он читал: сначала месяц, другой, посвящал славянским древностям, которые читались буквально по Шафартику; потом переходил профессор к подробному рассмотрению вопросов о достоверности русских летописей и о происхождении варягов-Руси, т. е. прочитывались обе свои диссертации. После этого, времени оставалось уже немного; это остальное время Погодин проводил в том, что приносил Карамзина и читал из него разные места, но самые слабые и вместе значительные по предмету, требовавшие пояснений, дополнений; этого Погодин, кроме варяжского периода, сделать был не в состоянии, ибо все, что выходило по русской истории, драгоценные издания Археографической Комиссии, для него не существовали; он выбирал из Карамзина места красивые, превращал лекцию русской истории в лекцию риторики, - так, например, читал с восторгом Карамзинское описание Тамерлановых походов и требовал от слушателей, чтоб и они также восторгались этим описанием; потом обращал внимание слушателей и заставлял их восторгаться искусством Карамзина в переходах от рассказа об одном событии к рассказу о другом; главная его цель при этом была убедить студентов, что русская история интересна, что она не хуже какой-нибудь другой, французской и английской; иногда, очень редко впрочем, приносил и летописи, читал из них места; - так, например, он прочел нам знаменитое место о споре владимирцев с ростовцами по смерти Андрея Боголюбского. Но какая же была цель этого чтения? - Показать, что вот и в русской истории бывали события вроде западных, являлись на сцену города, граждане, выбирали князей и прочее. Так отрывками добирался Погодин до 1612 года и здесь - по крайней мере, на нашем курсе - остановился. Кроме того, значительная часть лекций посвящалась разговорам со студентами, указаниям, что вот чем надобно заниматься, - изложить историю сословий, историю княжеств, историю городов и прочее, в чем, разумеется, студенты соглашались; но главное, как это делать, об этом не было помину; развивал Погодин притом свою любимую тему, что молодые люди самолюбивы, не хотят бескорыстно трудиться на стариков: "Ведь вот никто из них не пойдет к старому ученому дрова носить", - так выражался Погодин, разумея под дровами черную ученую работу, приискивание мест в источниках и т. п. Все эти разговоры были забавны, но нисколько не привлекали сердца слушателей к Погодину; смешно было видеть человека самого самолюбивого, жалующегося на самолюбие других, человека корыстолюбивого, требующего бескорыстия от других. Таковы были отношения Погодина к студентам; со старыми товарищами своими, профессорами, Погодин еще сходил, с

некоторыми был даже дружен по отношениям молодости, - например, с Шевыревым, Кубаревым; но когда приехала толпа новых профессоров из-за границы, Крюков с товарищами, то между ними и Погодным началась явная вражда; вражда эта происходила прежде всего из того, что манеры Погодина, его цинизм произвели самое неприятное впечатление на этих новичков, привыкших к совершенно другим манерам; потом эти господа поонемечились, *LAjurabant in verba magistrorum*, и так как сначала главное право их на места, главное достоинство их состояло в заграничном образовании, то естественно, что они гордились этим достоинством, превозносили все тамошнее в ущерб здешнему; это задело за живое Погодина, представителя славянофилизма в университете: он стал называть молодых русских профессоров немцами и даже говорить, что онемеченный русский гораздо хуже, вреднее для России, чем немец, что от посылки молодых русских ученых за границу происходит страшное зло для университетов и прочее. Понятно, какие приятные чувства возбудили в молодых профессорах подобные мнения; их вражда разгорелась, и тем менее они могли щадить Погодина, что характер этого защитника Руси не мог внушить им никакого уважения. Граф Строганов, назначенный попечителем, нашел университетский корпус в плачевном состоянии, именно в таком же, в каком нашел и гимназии, и в университете произвел такой же благодетельный переворот, как и в гимназии. Большая часть профессоров были люди бездарные, отсталые, с нелепыми выходками и привычками, подвергавшиеся вследствие того насмешкам студентов; мы уже с трудом могли верить рассказам наших предшественников до-строгановских о том, что позволяли себе Смирновы, Маловы, Шедритские, Снегиревы на лекциях и экзаменах. Строганов выгнал их всех и заместил кафедры новопривывшими из-за-границы учеными; отсюда понятно, что он связал свое дело неразрывно с делом последних, которые нашли в нем покровителя и проводителя их мыслей и планов; отсюда понятно, как он смотрел на эти остатки старины - на Погодина, Шевырева, Давыдова; он держал их в университете по авторитету, какой они успели приобрести, и по неимению людей, которыми бы можно было их заменить, ибо для кафедры русской истории и русской словесности не посылали молодых людей за границу, а свои еще не подросли; на ученые достоинства этих господ Строганов смотрел чрез очки молодых профессоров, - следовательно, не очень уважал эти достоинства; кроме того, он их раскусил с первого раза и возненавидел их, как людей; он начал презирать Давыдова, из-за ордена и чина готового на всякую гнусность; Шевырева - как человека мелкого и вместе задорного, несносного; Погодина - как корыстолюбивого, грязного холопа и, вместе с тем, дерзкого, надменного; закаленный аристократ Строганов сейчас же враждебно оттолкнулся от демократа Погодина, демократа-блужника Болотникова во фраке министерства народного просвещения. Трое этих господ, с придачею еще четвертого, Перевошикова, преподавателя очень способного, но человека грубого, не умевшего разбирать средства для достижения целей, видя отвращение от себя попечителя, бросились к

министру Уварову, врагу Строганова. Уваров был человек бесспорно с блестящими дарованиями, и по этим дарованиям, по образованности и либеральному образу мыслей, вынесенным из общества Штейнов, Кочубеев и других знаменитостей Александровского времени, был способен занимать место министра народного просвещения, президента академии наук etc.; но в этом человеке способности сердечные нисколько не соответствовали умственным. Представляя из себя знатного барина, Уваров не имел в себе ничего истинно-аристократического; напротив, это был слуга, получивший порядочные манеры в доме порядочного барина (Александра I-го), но оставшийся в сердце слугою; он не щадил никаких средств, никакой лести, чтоб угодить барину (императору Николаю); он внушил ему мысль, что он, Николай, творец какого-то нового образования, основанного на новых началах, и придумал эти начала, т. е. слова: православие, самодержавие и народность; православие - будучи безбожником, не веруя в Христа даже и по-протестантски; самодержавие - будучи либералом; народность - не прочитав в свою жизнь ни одной русской книги, писавши постоянно по-французски или по-немецки. Люди порядочные, к нему близкие, одолженные им и любившие его, с горем признавались, что не было никакой низости, которой бы он не был в состоянии сделать, что он кругом замаран нечистыми поступками. При разговоре с этим человеком, разговоре очень часто блестяще умом, поражали однако крайнее самолюбие и тщеславие; только, бывало, и ждешь - вот скажет, что при сотворении мира Бог советовался с ним насчет плана. Понятно, как легко было поймать в свои сети такого самолюбивого и тщеславного человека людям, - подобным Давыдову; стоило только льстить, кадить целый день; и вот Давыдов овладел полной доверенностью Уварова; другим средством, к приобретению доверенности и расположения Уварова для Давыдова, равно как для Погодина, Шевырева и Перевощикова, была вражда к Строганову, ибо последний знал Уварова, как он есть, презирал его, как грязного человека, и по характеру своему не скрывал этого презрения. Мне говорили, что была еще сильная причина ненависти: Уваров имел связь с мачихою Строганова - отсюда ненависть между министром и попечителем, вредившая так много московскому университету и округу и поведшая к такой печальной для них развязке.